
Я снова говорю с тобой:
мне ничего не остается.
Вагон качнулся голубой –
как в детской песенке поётся.
Дрожит короткая слеза.
Как смерть моя похорошела!
Какие синие глаза
не отрываешь ты от тела
и смотришь пристально, в упор,
каким-то зрением подробным! -
заводишь тихий разговор,
и даже обувь – даже обувь! –
притихла. Выкипел до дна
на кухне чайник. И несносен
мне шёпот вечности, когда
в неё опять уходит осень

и тьма продрогшая шуршит.
Но облетает, облетает
поверх бессмертия души
листва ржавеющая. Тает
меж сучьев горьковатый дым.
Из ниоткуда мы возьмемся,
ещё немного постоим,
покурим, снова разойдемся –
и ночь придёт со всех сторон.
Стволы отважные чернеют.
Пустая стая из ворон
висит над бездною. Над нею
все обретает вес и плоть,
и сыростью вскипают вены
ветвей. И пробует Господь
продлить Свой замысел мгновенный.

Чабрец и синее вино,
цветов тончайшие запястья –
всё это было так давно,
что может показаться счастьем.
Потом – двенадцать лет тайги
и перестройки полустанки.
Два Пригова и три Айги,
стихи еврейки-наркоманки –
читаешь всякую муру
и придвигаешь тень к предметам.
Глаза откроешь поутру –
а за ночь вымерли поэты
все-все – и больше никого!
Из горла выпита работа,
и через правое ребро
сочится кровь и позолота.

Рубаху белую надень,
перекрестив окно решеткой.
Еще один обычный день
спустился вечером за водкой.
И столбовой приносят дым –
когда б дворяне! – деревеньки.
А мы с тобой поговорим
за жизнь – и попадем на деньги.
В грязи увязнул сапожок,
но Бог с тобой: умойся снегом.
Пусть племя новое, дружок,
займётся плаваньем и бегом.
Пусть в чистое бельё душа
оденется и станет светом:
за ней, конечно, ни гроша –
но разве речь сейчас об этом?!

Прерви дыханье – слышишь? – и не
пытаясь выдохнуть хоть «ах»:
июль подходит к середине,
в своих же путаясь стихах.
Любимая, не прекословь!
Прислушайся: шуршат стрекозы,
течёт берёзовая кровь,
звенят и зреют абрикосы.
Мне кажется, что я незряч.
Они, наверное, из рая:
кузнечик, что ещё горяч,
и бабочка, – моя родная.
Они не знают слова «нет»
и слова «да» не знают тоже –
лишь перемалывают свет
ещё взыскательней и строже.

Мой жёлтый дом – чужая осень
и на сырую нитку дождь
с просветом в синем купоро­се:
не выбросишь, не подожжёшь!
Чужая кровь – плохая тёща
и википедия обид.
Я пробовал сложнее и проще,
был голоден, по горло сыт
чем только можно. Скоро, скоро
уйдут в огромную дыру
заводы, люди, этот город,
стихи и женщины б/у,
военных памятников груды.
В гробах маршрутных мы летим,
и светит как бы ниоткуда –
и мы другого не хотим.

Ещё рельефнее, чем дождь,
снежинки снимут точный слепок
с лица, когда ты сквозь идёшь,
а снег и робок, и некрепок.
Глаза закрыть – пока он бел
и светится проворной верой.
Он выпал и дышать хотел –
наивный, искренний и первый.
Я шёл и видел: он – лежал.
Я знал: ни выдоха, ни слова,
пока глазами провожал
его и закрывал их снова.
И открывал – и было сплошь
бело, и медленно, и тонко,
и тихо – будто мир похож
на обречённого ребёнка.

Я был кузнечиком в ладони
и мял беспечную траву.
Мне ничего не нужно, кроме
того, что я ещё живу.
Поверх перчатки пятипалой,
пустых пеналов февраля
я наглotalся до отвала
твоих корней, моя земля,
и суффиксов. Молчи: ни с места!
Вскипают олово и медь –
и светят фонари отвесно:
боятся жить и умереть.
Мои движения неловки:
какой-то день, какой-то год.
И снег летит на остановке –
летит за шиворот и в рот.

Не приговаривай меня,
не делай слишком виноватым:
зачти кровотечение дня,
перебинтуй его закатом.
Пуускай слова слетают с губ:
тебе – налево, мне – направо,
где, обречённая на сруб,
едва колышется держава.
Ещё не развели огня,
хотя прокукарекал дважды
петух. Ты всё-таки меня
забудешь – так бы сделал каждый.
Не плачь и не смотри назад:
любое прошлое – жестоко.
И только – небо, только – над
мерцает, как зеница ока.